

Можно ли бестрепетно доверять автобиографиям видных людей и даже массовым опросам?

В статье обсуждаются методологические вопросы использования материалов биографических интервью при изучении истории российской социологии.

Ключевые слова: биографические интервью, Дмитрий Шалин, отношение к фактам и мотивам, сообщаемым в биографическом интервью, история российской социологии.

Владимир Шляпентох

профессор социологии Мичиганского университета
shlapent@msu.edu.

Поводом для написания этих заметок стала статья известного американского социолога Дмитрия Шалина, опубликованная в предыдущем выпуске "Телескопа" и на сайте американо-российского проекта "Международная биографическая инициатива"². Проект посвящен истории российской социологии постхрущевского периода и методологии биографического метода, и его руководителями являются Борис Докторов и Дмитрий Шалин. Коллекция, собранная на сайте, включает свыше 150 биографических интервью с российскими социологами разных поколений и множество статей. Эти материалы активно используются Шалиным.

У меня есть некоторые расхождения с Дмитрием по поводу трактовки интервью из упомянутого проекта, которые он анализирует в своем тексте. Как мне кажется, он сильно переоценивает материалы, полученные с помощью биографического метода. Это же делают и другие западные социологи, рассматривающие автобиографические интервью и "дневниковый метод" как важный источник о жизни людей в настоящем и прошлом, игнорируя при этом органические слабости указанные методы. (См. например, Smith R., Manning P. (ed.), *A Handbook of social science methods, vol.2 Qualitative Methods*, Cambridge: Ballinger, 1982); Chamberlayne P., Bornat J., Wengraf T. (ed.), *The turn to biographical methods in social science: Comparative issues and examples*. London, UK: Routledge. 2000; Merrill B., West L. *Using Biographical Methods in Social Research*. Thousand Oaks, CA: Sage, 2009).

Дмитрий и его коллеги поразительным образом склонны, как правило, доверять своим собеседникам как людям, желающим и могущим снабдить их фактами о том, если использовать знаменитые слова немецкого историка 19 века, "что было на самом деле" в прошлом.

Между тем поклонники биографического метода абстрагируются от того, что их респонденты переполнены в момент интервью (как в прочем и в тот период, о котором они вспоминают) пристрастиями, преданы разным идеологическим догмам, все время обеспокоены своим престижем, тем как они выглядят в глазах интервьюера и будущих читателей. Они являются жертвами своего всемогущего желания рационализировать свое поведение и свои мысли (эффект *desirable values*). Респонденты просто не в состоянии во многих случаях выдать правдивую информацию, в особенности о том, какие были у них оценки или мотивы тогда и сейчас. Впрочем, сторонники биографического метода с розовыми представлениями о готовности их респондентов говорить "правду, только правду и

всю правду" по сути порождены американской эмпирической социологией, которая в целом и по сей день отличается удивительно романтической верой в природу человека и, в частности, в его стремление быть честным со всеми и в том числе с социологами. Этот наивный взгляд большинство американских социологов разделяют с американской либеральной идеологией в целом. Об этом я писал в своей недавней книге *Fear in contemporary society: its negative and positive effects* (New York: Palgrave Macmillan, 2006).

Отсюда и наивная вера подавляющего числа американских социологов в то, что объективная реальность и ее образы в сознании респондентов тождественны, и никаких проблем в трактовке их ответов не существует. Не менее сомнительна и другая, постмодернистская позиция в современной социологии, которая с ее релятивизмом исходит из того, что "все реальности", существующие в сознании респондентов равноценны друг другу и понятие "объективности" безнадежно устарело. Если придерживаться этих взглядов, то тогда все претензии к Дмитрию и другим поклонникам "качественной социологии" полностью снимаются, и все материалы, полученные с помощью интервью, обладают самодостаточной ценностью. Но я придерживаюсь иного видения мира — объективная реальность существует, но к ней крайне трудно добраться. По правде говоря, это видение, сознательно или подсознательно, разделяется большинством американских социологов, работающих с эмпирическим материалом и действительно стремящихся узнать вопреки инфекции релятивизма, что на самом деле происходит в обществе и что думают и знают рядовые американцы.

Поразительно, что молодая и неопытная советская социология 60-70 годов была намного более зрелой в понимании взаимодействия интервьюера (или анкеты) и респондента, чем смотревшая на нее тогда сверху вниз американская социология со всеми ее кумирами, включая великого Джорджа Гэллага, который начисто не интересовался готовностью его респондентов говорить правду. Этим своим преимуществом только что родившаяся советская социология была парадоксально обязана тоталитарному характеру советского общества и роли идеологии в обществе. И поэтому советские социологи были более "продвинутыми" в понимании природы респондента, чем те, которых они считали, имея на то основание, своими учителями. Борис Грушин со своими 47 пятницами (1969) — своего рода учебник по методологии опросов — был полон недоверия к своим респондентам, и в знаменитом "Таганрогском про-

¹ Шалин Д. В поисках нарративной идентичности: К диалогу Андрея Алексева и Дмитрия Шалина // Телескоп: журнал социологических и маркетинговых исследований. 2011. №3. С. 13-23

² Международная биографическая инициатива <<http://www.unlv.edu/centers/cdclv/archives>>.

екте" придумал десятки методик для отфильтрации стоящей информации. Впрочем автор этого текста также глубоко сомневался в правдивости респондентов, и в своих общесоюзных опросах разрабатывал, подобно Грушину, разные пути получения максимально искренних ответов (насколько это было возможно). Этот опыт изложен еще в начале 70-х (См.: Проблемы достоверности статистической информации в социологических исследованиях. М.: 1973).

Между тем, авторы американских учебников по методологии опросов в своем большинстве избегают даже упоминать при характеристике респондентов такие термины, как "искренность", "ложь", "ложные ответы". Очень мало американских социологов пытается выяснить влияние "желательных ценностей" на ответы респондентов, когда они спрашивают своих соотечественников об отношении к социальным институтам или зарубежным странам. Этого не делали даже ведущие эмпирические социологи страны, как например, бывший президент Американской социологической ассоциации Мелвин Кон, автор знаменитых книг *Class and conformity* (1969) and *Change and Stability: A Cross-National Analysis of Social Structure and Personality* (2006), а также многих статей, в которых обсуждается отношение к труду людей в разных странах. Казалось бы, М. Кон должен был озаботиться влиянием *desirable values* на ответы его респондентов, особенно образованных, умеющих лучше других приспособлять свои ответы к господствующей в их среде идеологии. Однако ответы респондентов принимались им без всяких сомнений. Также поступал и Рональд Ингледард, руководитель известнейшего проекта "Мировые ценности" (*Value Change in Global Perspective*, University of Michigan Press, 1995), который без всяких хитростей спрашивал жителей в авторитарных странах, что они думают о власти, насколько они доверяют официальным ценностям и т. п. Проект, посвященный истории советской социологии, о котором идет речь здесь, разделяет слабости работ этих крупных американских ученых.

Однако, я против крайностей и не считаю материалы интервью с социологами загрязнением информационного поля, хотя некоторые интервью, обсуждаемые Дмитрием, "экологически" вредны как любая дезинформация, требующая немалых затрат для ее очистки.

В биографическом интервью, подобно другим историческим источникам, содержится два типа данных, хотя и сильно переплетенных: фактологические и ценностные. Как и в массовых опросах, первый тип информации имеет сравнительно высокую эмпирическую валидность. Сведения о фактах жизни социологов — авторов интервью — более или менее заслуживают доверия, хотя прежде чем пустить их в оборот, например, включить в учебники и монографии об истории социологии в России или даже в статью, подобную написанной Дмитрием, нужно соблюдать минималистский принцип американской журналистики. Факт может быть использован только, если хотя бы два источника его подтверждают. Строго говоря, Дмитрий не имел право идти на риск "загрязнения" информационного поля истории социологии, цитируя интервью Бориса Раббата без хотя бы слабой проверки (например, опросив тех, кто знал его), о том что он "был избит сотрудниками КГБ за отказ сотрудничать с органами". Это — утверждение, делает его почти героем. Кто еще из социологов мог включить такое событие в послужной список своего противостояния советской системе, хотя почти все они старались доказать свой неконформизм в их советском прошлом? Возможное возражение — нет ресурсов для проверки этого утверждения — не работает. Если нет такой возможности, не включая в свою статью это заявление Раббата.

Однако множество других сведений из интервью, на которые ссылается Дмитрий, подтверждаемые другими источниками, заслуживают перехода из ранга первичной информации на стадию анализа и интерпретации. Такие как: Игорь Кон был в

Голландии в 1965 году и вернулся; Галина Старовойтова, Леонид Гордон, Галина Саганенко, Александр Гофман, Олег Божков, Сергей Чесноков, Леонид Ионин, Алексей Левинсон были беспартийными; Юрий Левада был секретарем парторганизации в институте социологии; Владимир Ядов, став директором института, распорядился отдать комнату партбюро Института какому-то подразделению и приказал убрать в подвал бюст Ленина с площадки второго этажа.

Но есть второй тип утверждений социологов, которые сильно зависят от желательных ценностей в тот момент, когда они "исповедовались" Докторову и Шалину. Это прежде всего мотивы их поведения и их рассказы об эволюции их взглядов за последние 20-30 лет, в течение которых произошла радикальная смена общества, появились новые социальные стимулы поведения и один тип конформизма сменился другим.

Социальная психология за последние сто лет предложила десятки теорий о мотивах поведения человека (некоторые из них — блистательные), однако она проявила почти полную беспомощность (тест Роршаха или разные прожективные тесты по-прежнему на вооружении, как и некоторые другие примитивные методики) в выяснении того, какие действительные мотивы стоят за поведением конкретных людей. Можно ли отделить друг от друга, опираясь на высказывания респондентов, причем таких интеллектуально изоциренных людей, как советские социологи, прошедшие в своей жизни огонь и медные трубы, имевшие дело с КГБ и парторганами, их главные мотивы от второстепенных? Как взвесить роль отдельных главных мотивов, если их несколько? Как сепарировать реальные мотивы от мотивов мнимых, упоминаемых социологами, чтобы обогатить в соответствии с новой идеологией в России или Америке, причины их важных решений?

По сути выявление реальных мотивов поведения недоступно современной науке. Что она может, например, сказать вразумительного, кроме как не верифицируемых тривиальностей о мотивах поведения Сталина, Ельцина или Путина равно, как и поведения американских бизнесменов до и вовремя последнего кризиса (этот вопрос страстно обсуждается сегодня в американской научной литературе и медиа, но без всякого успеха)? По сути только большие романисты типа Томаса Манна или Лиона Фейхтвангера имеют моральное право рассуждать о мотивах поведения людей. Именно поэтому так привлекателен бихевиоризм, предлагающий изучать только поведение и не тратить силы на исследование ценностей и мотивов. Другое дело, что ответы о мотивах всегда полезны, как один из источников информации, позволяющих что-либо понять о ценностных ориентациях, об идеологических пристрастиях респондентов и о способах их приспособления к реальности в момент интервьюирования, но уж никак не о реальных мотивах поведения три десятилетия в прошлом. Кстати, для этих целей полезно изучать какие мотивы люди приписывают "другим" — *attribution of motives* — достойная область социальной психологии.

Без оглядки на механизм рационализации мотивов Шалин ставит задачу "проанализировать структуру мотивировок в дискурсе эмигрантов, покинувших Советский Союз в годы застоя и сравнить ее с авторефлексией оставшихся в России ученых". Интервью, если бы они были взяты даже в момент эмиграции, требуют, мягко говоря, максимальной критичности, а вот спустя 20-30 лет требует изоциренных методов, чтобы отделить первоначальные мотивы (если предположить, что мы можем это сделать) от всех наслоений последующих десятилетий. Но как можно вводить в оборот без перекрестной проверки то, что сказали в 2010-2011 годах интервьюерам Владимир Шляпентох, Эдуард Беляев, Борис Докторов или Борис Раббот об их мотивах эмиграции? А какова уверенность, что действительно Юрий Левада говорил правду спустя три десятилетия после массового отъезда, что у него не было ни разу мыслей об эмиграции, весьма полезного утверждения в той России, когда он говорил об этом? А можно ли вот так принимать на веру, что

Игорь Кон потому не остался в Голландии в 1965 году, что у него была "начатая работа".

Столь же сомнительны данные, пока они не прошли какой-либо, хоть поверхностной проверки, о мотивах вступления наших социологов в КПСС. Ведь чего только не придумывали эмигранты, приехавшие в США, чтобы объяснить свое членство в партии, если они не сумели скрыть его.

Еще ближе к "загрязнению" информационной среды ответы об идеологической эволюции социологов. Дмитрий, однако, уверен, что по мемуарным текстам "можно проследить эволюцию правоверного коммуниста во внутренне свободное, а со временем и политически независимого, человека". Ни слова об изошренной адаптации психики бывшего партийного активиста к новой реальности, враждебной прежней идеологии, и его поисках для себя и особенно других доказательств "искренности" и тогда, когда он был пламенными марксистом-ленинцем, и теперь, когда он в авангарде антикоммунизма и вместо Маркса обильно цитирует Хабермаса и особенно Бурдьё. Только в том случае, когда "эволюция" сопровождалась потерями и жертвами (Андрей Сахаров, Михаил Горбачев) можно говорить о реальной эволюции мировоззрения, но никак в слу-

чаях Дмитрия Волкогонова или Александра Яковлева, которые сильно преуспели, став врагами Маркса и Ленина и социализма в целом.

Поразительно, что социология игнорирует и по сей день опыт исторической науки. Ведь уже в 1556 году французскому историку Жан Бодэну было ясно, что, только сравнивая источники друг с другом, можно надеяться на получение полезной информации. В 1898 два французских историка Ланглуа и Сейнбос (Langlois & Seignobos) в их книге "Введение в исторические исследования" сформулировали семь правил, соблюдение которых дает право исследователю вводить в оборот новый факт. Было бы прекрасно, если бы все социологи в обязательном порядке изучили эту книгу столетней давности и поняли, как трудно вводить в социальную науку новые факты. Все три француза и немец Леопольд Ранке, в середине 19 века также внесший важный вклад в методологию истории, не имели понятия об "информационном шуме" или о "загрязнении" информационного поля, однако они интуитивно понимали, что надо делать, чтобы историк или социолог хоть частично мог оперировать данными, похожими на те, которые использует экспериментальная наука.